

Иван Тургенев

# Переписка



# Иван Сергеевич Тургенев

## Переписка

*Текст предоставлен правообладателем.*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3003455](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3003455)

### Аннотация

Идейно-философские поиски Тургенева, во многом определявшиеся близким общением с Белинским, выразились в «Переписке» в стремлении автора вскрыть причины, порождавшее «лишних людей», и в страстном призыве жить действительной реальной жизнью, а не отвлеченными идеалами, выработанными в искусственной изолированности от повседневного человеческого бытия. К острой постановке этой проблемы Тургенева побуждали недавнее увлечение немецкой идеалистической философией и как отзвук этого увлечения – «философический роман» с Татьяной Бакуниной, а также несомненное воздействие Белинского, который в 1840-х годах объявил в своих статьях непримиримую войну «идеалистическому романтизму» во всех его проявлениях

# Содержание

I	7
II	10
III	11
IV	14
V	16
VI	17
VII	23
VIII	29
IX	31
X	35
XI	38
XII	41
XIII	47
XIV	49
XV	50
Примечания	56
Источники текста	56
Условные сокращения	76
Комментарии	

# Иван Сергеевич Тургенев

## Переписка

Несколько лет тому назад был я в Дрездене.

Я остановился в гостинице. С раннего утра до позднего вечера скитаясь по городу, я не почел за нужное познакомиться с моими соседями; наконец случайным образом дошло до моего сведения, что в доме находится русский – больной. Я отправился к нему и нашел человека в жесточайшей чахотке. Дрезден начинал мне надоедать; я поселился у моего нового знакомого. С больным сидеть скучно, но даже скука иногда приятна; притом мой больной не унывал и разговаривал охотно. Мы всячески старались убивать время: играли вдвоем в дурачки, трунили над доктором. Мой земляк рассказывал этому весьма лысому немцу разные небывлицы на свой счет, которые доктор всегда «давно предугадывал»; передразнивал его, когда он удивлялся какому-нибудь необыкновенному, небывалому припадку, кидал его лекарства за окно и т. д. Я, впрочем, неоднократно замечал моему приятелю, что не худо бы послать за хорошим врачом, пока время не ушло, что с его болезнью шутить нельзя, и т. д. Но Алексей (моего знакомого звали Алексеем Петровичем С...) всякий раз отделялся остротами насчет всех докторов вообще и своего в особенности и наконец, в один ненастный осенний вечер, на мои неотступные просьбы от-

вечал таким унылым взглядом, так печально покачал головой и так странно улыбнулся, что я почувствовал некоторое недоумение. В ту же ночь Алексею сделалось хуже, и на другой день он скончался. Перед самой смертью обычная веселость ему изменила: он с беспокойством заметался на постели, вздыхал, тоскливо озирался... схватил меня за руку, с усилием прошептал: «А ведь тяжело умирать...», уронил голову на подушку и залился слезами. Я не знал, что сказать ему, и молча сидел перед его постелью. Алексей, однако ж, скоро восторжествовал над этим последним, поздним сожаленьем... «Послушайте, – сказал он мне, – наш доктор сегодня придет и найдет меня мертвым... Воображаю себе его рожу...» И умирающий постарался его передразнить... Он попросил меня отослать все его вещи в Россию, к родственникам, исключая небольшой связки, которую он подарил мне на память.

В этой связке находились письма – письма одной девушки к Алексею и копии с его писем к ней. Всех их было пятнадцать. Алексей Петрович С... знал Марию Александровну Б... давно, кажется, с детства. У Алексея Петровича был двоюродный брат, у Марьи Александровны была сестра. В прежние годы они все жили вместе, потом разъехались и долго не видались; потом случайно съехались все опять в деревне летом и влюбились – брат Алексея в Марию Александровну, сам Алексей в сестру ее. Лето прошло, наступила осень; они разъехались. Алексей, как человек рассудительный, ско-

ро убедился в том, что он вовсе не влюблен, – и расстался с своей красавицей весьма благополучно; брат его еще годика два переписывался с Марьей Александровной... но и он догадался, наконец, что бессовестным образом обманывает и ее и себя, и тоже умолк.

Я бы мог вам рассказать кое-что о Марье Александровне, любезный читатель, но вы ее узнаете сами из ее писем. Алексей написал свое первое письмо к ней вскоре после ее окончательной размолвки с его братом. Он находился тогда в Петербурге, внезапно уехал за границу, занемог и в Дрездене умер. Я решился напечатать его переписку с Марьей Александровной и надеюсь на некоторое снисхождение со стороны читателей уже потому, что эти письма не любовные – сохрани бог! Любовные письма читаются обыкновенно только двумя особами (зато тысячу раз сряду), но уж третьей особе они несносны, если не смешны.

# I

*От Алексея Петровича к Марье Александровне  
Санкт-Петербург, 1840 г., марта 7-го.*

Любезная Марья Александровна!

Кажется, я еще ни разу не писал к вам, и вот пишу теперь... Не правда ли, странное я выбрал время? Вот что меня к этому побудило. Mon cousin Théodore<sup>1</sup> сегодня был у меня и, как бы это сказать... и сообщил мне под величайшей тайной (он иначе ничего не сообщает), что он влюблен в дочь какого-то здешнего барина и на этот раз непременно намерен жениться, и что уж он сделал первый шаг – объяснился! Я, разумеется, поспешил поздравить его с таким приятным для него событием; он давно нуждался в объяснении... но внутренне, признаюсь, я несколько изумился. Хотя я знал, что между вами всё было кончено, однако мне казалось... Словом, я изумился. Я собирался было выехать сегодня в гости, но остался дома и намерен поболтать немного с вами. Если вам неуютно меня слушать, бросьте письмо тотчас же в огонь. Объявляю вам, что я хочу быть откровенным, хотя и чувствую, что вы имеете полное право принять меня за довольно навязчивого человека. Заметьте, однако, что я бы не

---

<sup>1</sup> Мой двоюродный брат Федор (франц.).

взял пера в руки, если б не знал, что вашей сестрицы нет с вами: она, как мне сказал Théodore, будет всё лето гостить у вашей тетки, г-жи Б... Дай ей бог всего хорошего!

Итак, вот чем всё разыгралось... Но я не стану предлагать вам мою дружбу и т. д.; я вообще чуждаюсь торжественных речей и «задушевных» излияний. Начав писать это письмо, я просто следовал какому-то мгновенному влечению; если во мне таится другое чувство, пусть оно и останется пока под спудом.

Вас я также утешать не стану. Утешая других, люди большей частью желают поскорей отделаться от неприятного чувства невольного, себялюбивого сожаленья... Я понимаю искреннее, теплое участие... но подобное участие не от всякого принимаешь... Пожалуйста, рассердитесь на меня... Рассердившись, вы, вероятно, прочтете мое послание до конца.

Но какое право имею я писать к вам, говорить о моей дружбе, о моих чувствах, об утешении? – Никакого, решительно никакого, я в этом должен сознаться и надеюсь только на вашу доброту.

Знаете ли вы, на что похоже вступление моего письма? Вот на что: Какой-нибудь господин N. N. вошел в гостиную дамы, которая его совсем не ожидала, которая, может быть, ожидала другого... Он догадывается, что пришел не вовремя, но делать нечего... Садится, начинает говорить... бог знает о чем: о поэзии, о красотах природы, о выгодах хоро-



шего воспитания... словом, несет ужаснейшую дичь... Но между тем первые пять минут прошли, он уселся; дама покорила судьбе, и вот г. N. N. оправляется, отдыхает и начинает разговаривать – как умеет.

Однако, несмотря на все эти разглагольствования, мне все-таки не совсем ловко. Я так и вижу перед собою ваше недоумевающее, несколько даже гневное лицо: я чувствую, что вам почти невозможно не предположить во мне каких-нибудь скрытных намерений, и потому я, как римлянин, сделавший глупость, величественно закутываюсь в свою тогу и безмолвно ожидаю вашего окончательного приговора...

А именно: позволите ли вы мне продолжать писать к вам?

Остаюсь искренно и душевно преданный вам

*Алексей С...*

## II

*От Марьи Александровны к Алексею Петровичу  
Село ...но, марта 22-го 1840.*

Милостивый государь  
Алексей Петрович!

Я получила ваше письмо и, право, не знаю, что вам сказать. Я бы даже вовсе не отвечала вам, если б мне не показалось, что под вашими шутками действительно скрывается чувство довольно дружелюбное. Ваше письмо произвело на меня впечатление неприятное. В ответ на ваши «разглагольствования», как вы говорите, позвольте мне тоже предложить вам один вопрос: к *чему?* Что вам до меня, что мне до вас? Я не предполагаю в вас никаких дурных намерений... напротив, я благодарна вам за ваше участие... но мы друг другу чужды, и я, теперь по крайней мере, не чувствую ни малейшего желания сблизиться с кем бы то ни было.

С истинным уважением остаюсь и т. д.  
*Марья Б...*

### III

*От Алексея Петровича к Марье Александровне  
Санкт-Петербург, марта 30.*

Благодарю вас, Марья Александровна, благодарю вас за вашу записку, как она ни суха. Всё это время я находился в большом волнении; я двадцать раз на день думал о вас и о моем письме. Вы не можете себе представить, как язвительно я насмеялся над самим собою; но теперь я в отличном расположении духа и глажу себя по головке. Марья Александровна, я вступаю в переписку с вами! Признайтесь, вы этого никак не могли ожидать после вашего ответа; я сам удивляюсь моей смелости... была не была! Но успокойтесь: я хочу говорить с вами не о вас, а о себе. Вот видите ли: мне непременно нужно, говоря старинным слогом, высказаться перед кем-нибудь. Я не имею никакого права избрать вас в свои поверенные – согласен; но послушайте: я не требую от вас ответа на мои послания; я даже не хочу знать, станете ли вы читать мои «разглагольствования», но не возвращайте мне моих писем, ради всего святого!

Послушайте, я совершенно одинок на земле. В молодости я вел жизнь уединенную, хотя, помнится, никогда не прикидывался Байроном;<sup>[1]</sup> но, во-первых, обстоятельства, во-вторых, способность фантазировать и любовь к фантазии, до-

вольно холодная кровь, гордость, лень – словом, множество разных причин отдалило меня от общества людей. Переход от жизни мечтательной к действительной совершился во мне поздно... может быть, слишком поздно, может быть, до сих пор не вполне. Пока меня тешили собственные мои мысли и чувства, пока я был способен предаваться беспричинным молчаливым восторгам и т. д., я не жаловался на свое одиночество. У меня не было товарищей – были так называемые друзья. Иногда я нуждался в их присутствии, как электрическая машина нуждается в разряднике – и только. Любовь... об этом предмете мы пока помолчим. Но теперь, признаюсь, теперь одиночество тяготит меня, а между тем я не вижу никакого выхода из моего положения. Я не виню судьбы; я один виноват, и поделом наказан. В молодости меня занимало одно: мое милое я; я принимал свое добродушное самолюбие за стыдливость; я чуждался общества – и вот теперь я сам себе надоел страшно. Куда деться? Я никого не люблю; все мои сближения с другими людьми как-то натянуты и ложны; да и воспоминаний у меня нет, потому что во всей моей прошедшей жизни я ничего не нахожу, кроме собственной моей особы. Спасите меня: вам я не клялся восторженно в любви; вас я не оглушал потоком болтливых речей; я довольно холодно прошел мимо вас, и оттого именно решаюсь теперь прибегнуть к вам. (Я и прежде об этом подумывал, да вы тогда не были свободны...) Среди всех моих самодельных ощущений, радостей и страданий, единственно истин-

ным чувством было то небольшое, но невольное влечение к вам, которое завяло тогда, как одинокий колос среди негодных трав... Дайте мне хоть раз посмотреть в лицо другое, в другую душу – мое собственное лицо мне опротивело; я похож на человека, который был бы осужден весь свой век жить в комнате с зеркальными стенами... Я не требую от вас никаких признаний – о, боже, нет! Подарите меня безмолвным участием сестры или хоть простым любопытством читателя – я вас займу, право займу.

А впрочем, честь имею пребыть вашим искренним другом.

А. С.

## IV

*От Алексея Петровича к Марье Александровне  
Петербург, 7-го апреля.*

Пишу опять к вам, хотя и предвижу, что без вашего одобрения скоро замолчу. Я должен сознаться, что вы не можете не чувствовать некоторой недоверчивости ко мне. Что ж? вы, может быть, и правы. Прежде я торжественно объявил бы вам (и сам, пожалуй, себе бы на слово поверил), что, со времени нашей разлуки, я «развился», ушел вперед; с снисходительным, почти ласковым презрением отозвался бы я о своем прошедшем, с трогательной хвастливостью посвятил бы вас в тайны своей настоящей, действительной жизни... но теперь, уверяю вас, Марья Александровна, мне даже совестно и гадко вспоминать о том, как некогда разыгрывалось и тешилось мое дрянное самолюбие. Не бойтесь: я не стану вам навязывать никаких великих истин, никаких глубоких взглядов; у меня нет их – этих истин и взглядов. Я стал добрым малым – право. Мне скучно, Марья Александровна, мне просто мочи нет как скучно. Вот отчего я к вам пишу... Мне, право, кажется, что мы можем сойтись...

Однако я решительно не в состоянии говорить с вами, пока вы мне не протянете вашей руки, пока я не получу от вас записки с одним словом «да». – Марья Александровна, хо-

тите ли вы меня выслушать? – вот в чем вопрос.<sup>[2]</sup>

Преданный вам А. С

## V

*От Марьи Александровны к Алексею Петровичу  
Село ...но, 14 апреля.*

Какой вы странный человек! Ну – да.  
*Марья Б.*



## VI

*От Алексея Петровича к Марье Александровне  
Петербург, 2 мая 1840.*

Ура! Спасибо, Марья Александровна, спасибо! Вы очень доброе и снисходительное создание.

Начинаю, по обещанию, говорить о самом себе и буду говорить с удовольствием, доходящим до аппетита... Именно так. Обо всем на свете можно говорить с жаром, с восторгом, с увлечением, но с аппетитом говоришь только о самом себе.

Послушайте, со мной на днях случилось престранное происшествие: я в первый раз оглянулся на свое прошедшее. Вы поймите меня: каждый из нас часто вспоминает о бывалом – с сожалением или с досадой, или просто так, от нечего делать; но бросить холодный, ясный взгляд на всю свою прошедшую жизнь – вот как прохожий, оборачиваясь, глядит с высокой горы на пройденное им поле – можно только в известные лета... и тайный холод охватит сердце человека, когда это с ним случается в первый раз. По крайней мере у меня оно болезненно сжалось. Пока мы молоды – *такого* рода оглядки невозможны. Но молодость моя миновала – и, как тому прохожему на горе, мне всё ясно стало видно...

Да, прошла моя молодость, прошла невозвратно!.. Вот она лежит передо мной, вся, как на ладони...

Невеселое зрелище! Признаюсь вам, Марья Александровна, мне очень жаль самого себя. Боже мой? Боже мой! Возможно ли, чтоб я сам до такой степени испортил собственную жизнь, так безжалостно путал и мучил себя... Теперь я образумился, но уж поздно. Случалось ли вам спасти муху от паука? Случалось? Помните, вы посадили ее на солнце; крылья, ножки у ней слеплены, склеены... Как она неловко движется, как неловко старается обчиститься!.. После долгих усилий она кое-как оправляется, ползет, пытается расправить крылья... но не гулять уж ей по-прежнему, не жужжать беззаботно на солнце, то влетая через раскрытое окно в прохладную комнату, то опять свободно выносясь на горячий воздух... Она по крайней мере не по своей воле попала в грозные сети... а я!

Я был собственным своим пауком!

И между тем я не могу слишком винить себя. Да и кто, скажите на милость, кто бывает когда-нибудь в чем-нибудь виноват – один? Или, лучше сказать, все мы виноваты, да винить-то нас все-таки нельзя. Обстоятельства нас определяют; они наталкивают нас на ту или другую дорогу, и потом они же нас казнят. У каждого человека есть своя судьба... Поймите, поймите! Мне на этот счет приходит в голову хитро сплетенное, но справедливое сравнение. Как облака сперва слагаются из паров земли, восстают из недр ее, потом отделяются, отчуждаются от нее и несут ей, наконец, благодать или гибель, так около каждого из нас и из нас же самих об-

разуется... как бы это сказать? образуется род стихии, которая потом разрушительно или спасительно действует на нас же. Эту-то стихию я называю судьбой... Другими словами и говоря просто: каждый делает свою судьбу, и каждого она делает...

Каждый делает свою судьбу – да!.. но наш брат слишком много ее делает – вот в чем наша беда! Слишком рано пробуждается в нас сознательность; слишком рано начинаем мы наблюдать за самими собою... У нас, русских, нет другой жизненной задачи, как опять-таки разработка нашей личности, и вот мы, едва возмужалые дети, уже принимаемся разрабатывать ее, эту нашу несчастную личность! Не получив извне никакого определенного направления, ничего действительно не уважая, ничему крепко не веря, мы вольны делать из себя что хотим... Нельзя же требовать от каждого, чтоб он тотчас понял бесплодность ума, «кипящего в действии пустом»...<sup>[3]</sup> И вот опять на свете одним уродом больше, больше одним из тех ничтожных существ, в которых привычки себялюбия искажают самое стремление к истине, смешное простодушие живет рядом с жалким лукавством... одним из тех существ, обессиленной, беспокойной мысли которых не знакомо вовек ни удовлетворение естественной деятельности, ни искреннее страдание, ни искреннее торжество убеждения... Совмещая в себе недостатки всех возрастов, мы лишаем каждый недостаток его хорошей, выкупающей стороны... Мы глупы, как дети, но мы не искренни, как

они; мы холодны, как старики, но старческого благоразумия нет в нас... Зато мы психологи. О да, мы большие психологи! Но наша психология сбивается на патологию; наша психология – это хитrostное изучение законов больного состояния и больного развития, до которых здоровым людям нет никакого дела... А главное, мы не молоды, в самой молодости не молоды!

И между тем – зачем клеветать на себя? Будто уж и мы никогда не были молоды, будто в нас никогда не играли, не кипели, не дрожали силы жизни? И мы бывали в Аркадии,<sup>[4]</sup> и мы скитались по светлым ее полям!.. Случалось ли вам, гуляя по кустарнику, наткаться на тех темных кузнечиков, которые, прыгнув из-под самых ног, с треском раскрывают вдруг ярко-красные крылья, перелетят несколько шагов и тут же падают опять в траву? Точно так же и наша темная молодость иногда распускала на несколько мгновений и не на долгий полет свои пестрые крылышки... Помните ли вы наши безмолвные вечерние прогулки вчетвером вдоль ограды вашего сада, после какого-нибудь долгого, теплого, живого разговора? Помните ли вы те благодатные мгновения? Природа ласково и величаво принимала нас в свое лоно. Мы входили, замирая, в какие-то блаженные волны. Кругом вечерняя заря разгоралась внезапным и нежным багрянцем; от заалевшегося неба, от просветленной земли, отовсюду, казалось, веяло огнистым и свежим дыханьем молодости, радостным торжеством какого-то бессмертного счастья; заря

пылала; подобно ей, тихо и страстно пылали восторженные наши сердца, и мелкие листья молодых деревьев чутко и смутно дрожали над нами, как будто отвечая внутреннему трепету неясных чувств и ожиданий в нас. Помните вы эту чистоту, эту доброту и доверчивость помыслов, это умиление благородных надежд, это молчание полноты? Неужели мы и тогда не стоили чего-нибудь лучшего, чем то, к чему нас довела жизнь? Отчего нам было суждено только изредка завидеть желанный берег и никогда не стать на него твердой ногою, не коснуться его —

Не плакать сладостно, как первый иудей  
На рубеже страны обетованной?<sup>[5]</sup>

Эти два стиха Фета напомнили мне другие, его же... Помните, как мы однажды, стоя на дороге, увидели вдали облачко розовой пыли, поднятой легким ветром против заходящего солнца? «Облаком волнистым»,<sup>[6]</sup> начали вы, и мы все тотчас притихли и стали слушать:

Облаком волнистым  
Пыль встает в дали...  
Конный или пеший —  
Не видать в пыли.  
Вижу, кто-то скачет  
На лихом коне...  
Друг мой, друг далекий —

Вспомни обо мне!

Вы замолкли... Мы так и вздрогнули все, как будто дуновение любви промчалось по нашим сердцам, и каждого из нас – я в том уверен – неотразимо потянуло в даль, в ту неизвестную даль, где призрак блаженства встает и манит среди тумана. И между тем заметьте странность: зачем, казалось, нам было стремиться в даль? Разве мы не были влюблены друг в друга? Разве счастье не было «так близко, так возможно»?<sup>[7]</sup> А я еще сейчас вас спрашивал: отчего мы не коснулись желанного берега? Оттого, что ложь ходила рука об руку с нами; оттого, что она отравляла лучшие наши чувства; оттого, что всё в нас было искусственно и натянуто, что мы вовсе не любили друг друга, а только силились любить, воображали, что любим...

Но полно, полно! К чему растревлять свои раны? Притом же всё это прошло невозвратно. Что было хорошего в нашем прошедшем – меня растрогало, и на этом хорошем я пока прощаюсь с вами. Пора же и кончить это длинное письмо. Пойду, подышать здешним майским воздухом, в котором сквозь зимнюю сухую крепость весна пробивается какой-то влажной и острой теплотой. Прощайте.

Ваш *Л. С.*

## VII

*От Марьи Александровны к Алексею Петровичу  
Село ...но, 20-го мая 1840.*

Я получила ваше письмо, Алексей Петрович, и знаете ли, какое чувство оно во мне возбудило? – Негодование... да, негодование... и я вам сейчас объясню, почему именно это чувство оно во мне возбудило. Одна беда: я не владею пером, редко писала, не умею точно и в немногих словах выражать свои мысли; но вы, я надеюсь, придете мне на помощь. Вы сами постараетесь понять меня, хотя бы для того, чтоб узнать, почему я на вас негодную.

Скажите мне – вы умный человек, – спросили ли вы себя когда-нибудь, что такое русская женщина? какая ее судьба, ее положение в свете – словом, что такое ее жизнь? Я не знаю, имели ли вы время задать себе этот вопрос, и не могу себе представить, как бы вы на него ответили... Я, может быть, в разговоре была бы в состоянии сообщить вам мои мысли на этот счет, но на бумаге едва ли сумею. Впрочем, всё равно. Вот в чем дело: вы со мной наверно согласитесь, что мы, женщины, по крайней мере те из нас, которые не удовлетворяются обыкновенными заботами домашней жизни, получаем свое окончательное образование всё-таки от вас – мужчин: вы на нас имеете сильное и большое

влияние. Теперь посмотрите, что вы делаете с нами. Станем говорить о молодых девушках, особенно о тех, которые, как я, живут в глуши, а таких очень много в России. Притом же я других не знаю и не могу судить о них. Представьте себе такую девушку. Вот ее воспитание кончено; она начинает жить, веселиться; но одного веселья ей мало. Она многого требует от жизни, она читает, мечтает... о любви. Всё об одной любви! – скажете вы... Положим: но для нее это слово много значит. Я опять-таки скажу, что говорю не о такой девушке, которой тягостно и скучно мыслить... Она оглядывается, ждет, когда же придет тот, о ком ее душа тоскует... Наконец он является: она увлечена; она в руках его, как мягкий воск. Всё – и счастье, и любовь, и мысль – всё вместе с ним нахлынуло разом; все ее тревоги успокоены, все сомнения разрешены им; устами его, кажется, говорит сама истина; она благоговеет перед ним, стыдится своего счастья, учится, любит. Велика его власть в это время над нею!.. Если б он был героем, он бы воспламенил ее, он бы научил ее жертвовать собою, и легки были бы ей все жертвы! Но героев в наше время нет... Всё же он направляет ее куда ему угодно; она предается тому, что его занимает, каждое слово его западает ей в душу: она еще не знает тогда, как ничтожно, и пусто, и ложно может быть слово, как мало стоит оно тому, кто его произносит, и как мало заслуживает веры! За этими первыми мгновениями блаженства и надежд обыкновенно следует – по обстоятельствам (обстоятельства всегда виновны) – сле-



дует разлука. Говорят, бывали примеры, что две родные души, узнав друг друга, тотчас соединялись неразрывно; слышала я также, что от этого им не всегда становилось легко... Но чего я не видала сама, о том не говорю – а что расчет самый мелкий, осторожность самая жалкая могут жить в молодом сердце рядом с самой страстной восторженностью – это я, к сожалению, испытала на опыте. Итак, наступает разлука... Счастлива та девушка, которая узнает тотчас, что всему конец, которая не тешит себя ожиданием! Но вы, храбрые, справедливые мужчины, большею частью не имеете ни духа, ни даже желанья сказать нам истину... вам спокойнее обмануть нас... Впрочем, я готова верить, что вы сами себя обманываете вместе с нами... Разлука! Разлуку переносить и трудно и легко. Была бы цела и неприкосновенна вера в того, кого любишь – тоску разлуки победит душа... Скажу более: только тогда; оставшись одною, узнает она сладость уединения, не бесплодного, но исполненного воспоминаний и дум; только тогда она себя узнает, придет в себя, окрепнет... В письмах далекого друга найдет она себе опору; в своих она, может быть, в первый раз выскажется вполне... Но как два человека, отправившиеся от источника реки по разным ее берегам, сперва могут подать друг другу руку, потом только сообщаются голосом, наконец уже теряют друг друга из виду, так и два существа разъединяются наконец разлукой. Так что ж! – скажете вы: видно, им не было суждено идти вместе... Но тут-то и является различие между женщиной и

женщиной. Мужчине ничего не значит начать новую жизнь, стряхнуть с себя долой всё прошедшее: женщина этого не может. Нет, не может она сбросить свое прошедшее, не может оторваться от своего корня – нет, тысячу раз нет! И вот наступает жалкое и смешное зрелище... Постепенно теряя надежду и веру в себя – а как это тяжело, вы и представить не можете! – она гаснет и вянет одна, упорно придерживаясь своих воспоминаний и отворачиваясь от всего, что окружающая жизнь ей представляет... А он?.. Ищите его! где он! И стоит ли ему останавливаться? когда ему оглядываться? Ведь это всё для него дело прошлое. А то вот еще что бывает: бывает, что он вдруг пожелает встретиться с прежним своим предметом, даже нарочно съездит к нему... Но, боже мой! из какого мелкого тщеславия он это делает! В его учтивом сострадании, в его будто дружеских советах, в его снисходительном объяснении прошедшего слышится такое сознание своего превосходства! Так ему приятно и весело давать самому себе чувствовать каждую минуту – какой он умница и как он добр! И как мало понимает он, что он сделал! Как он умеет даже не догадываться о том, что происходит в сердце женщины, и как он обидно сожалеет о ней, если и догадывается!..

Скажите, пожалуйста, откуда взять ей силу переносить всё это? Вспомните еще вот что: большей частью девушка, у которой, на ее беду, мысль зашевелилась в голове, эта девушка, начав любить, подпав под влияние мужчины, невольно отде-

ляется от своей семьи, от знакомых. Она и прежде не удовлетворялась их жизнью, однако шла рядом с ними, сохраняя в душе все свои заветные тайны... Но разрыв скоро делается видимым... Они перестают ее понимать, готовы заподозрить каждое ее движение... Сперва ей до этого дела нет, но потом, потом... когда она остается одна, когда то, к чему она стремилась и для чего она пожертвовала всем, когда ей небо не далось, а всё близкое, всё возможное удалилось – что ее поддержит? Насмешки, намеки, пошлое торжество грубого здравого рассудка она еще как-нибудь перенесет... Но что ей делать, к чему прибегнуть, когда внутренний голос начнет шептать ей самой, что те все были правы, а она ошибалась; что жизнь, какая бы она ни была, лучше мечтаний, как здоровье лучше болезни... когда любимые занятия, любимые книги ей опротивят, книги, из которых не вычитаешь себе счастья – что, скажите, что ее поддержит? Как не изнемочь в такой борьбе? как жить и продолжать жить в такой пустыне? Сознавать себя побежденной и нищенски протягивать руку к людям равнодушным: не подарят ли хоть они тем участием, без которого гордое сердце когда-то воображало, что может обойтись, – это всё еще ничего! но чувствовать себя смешною в то самое мгновение, когда проливаешь горькие, горькие слезы... ах! не дай бог испытать это...

Руки мои дрожат, и я вся в лихорадке... Лицо горит. Пора перестать... Поскорей отправлю это письмо, пока мне не стало стыдно своей слабости. Но ради бога, в вашем ответе

ни слова – слышите, ни слова сожаленья, а то я никогда к вам писать не буду. Поймите меня: я бы не хотела, чтоб вы приняли это письмо за излияние непонятой души, которая жалуется... Ах! мне всё равно! Прощайте.

*М.*

## VIII

*От Алексея Петровича к Марье Александровне  
Санкт-Петербург, 28-го мая 1840.*

Марья Александровна, вы прекрасное существо... вы... ваше письмо открыло мне, наконец, истину! Господи боже мой! что за мучение! Человек то и дело думает, что вот теперь-то уж он добился простоты, не рисуется более, не ломается, не лжет... а как всмотришься в него пристальнее – чуть ли не хуже он прежнего стал. И вот что еще должно заметить: человек сам, один то есть, никогда не дойдет до этого сознания, как он ни хлопочи; глаз его не видит собственных недостатков, как притупевший глаз наборщика не видит опечаток: тут нужен другой, свежий глаз. Спасибо вам, Марья Александровна... Вы видите, я говорю вам о себе; о вас я говорить не смею... Ах, как смешно мне кажется теперь мое последнее письмо, столь красноречивое и чувствительное! Продолжайте, прошу вас убедительно, вашу исповедь; мне сдастся, что и вам от этого будет легче, и мне оно принесет пользу. Пословица недаром гласит: «Женский ум лучше многих дум»,<sup>[8]</sup> а женское сердце и подавно – ей-богу! Если бы женщины знали, насколько они добрее, великодушнее и умнее мужчин – именно умнее, – они бы возгордились и испортились бы; но они, к счастью, этого не знают, не знают пото-

му, что их мысль не привыкла беспрестанно возвращаться к самой себе, как у нашего брата. Они о себе мало думают – это и слабость их и сила; в этом заключается вся тайна – не скажу нашего превосходства, а нашего могущества. Они расточают свою душу, как щедрый наследник отцовское золото, а мы с каждого вздора берем проценты... Где ж им тягаться снами?.. Это всё не комплименты, а простая, опытом доказанная истина. Вторично прошу вас, Марья Александровна, продолжать писать ко мне... Если б вы знали всё, что мне приходит в голову!.. Но мне теперь не хочется говорить, мне хочется вас слушать... Моя речь будет впереди. Пишите, пишите.

Преданный Вам А. С.

## IX

*От Марьи Александровны к Алексею Петровичу  
Село ...но, 12-го июня 1840.*

Я не успела отправить к вам мое последнее письмо, Алексей Петрович, как уже раскаялась; но делать было нечего. Одно меня несколько успокоивает: я уверена, что вы поняли, под влиянием каких давно подавленных чувств оно было написано, и извинили меня. Я даже не перечла тогда, что я вам такое написала; помню, сердце мое стучало так сильно, что перо дрожало в руке. Впрочем, хотя я, вероятно, иначе бы выразилась, если б дала себе время подумать, я все-таки не намерена отказаться ни от слов своих, ни от чувств, которые передала вам как умела. Сегодня я гораздо хладнокровнее и гораздо более владею собою...

Помнится, я в конце письма говорила о тяжелом положении девушки, которая сознает себя одинокою даже между своими... Я не стану больше распространяться об этом, а лучше сообщу вам кой-какие подробности: мне кажется, этак я вам меньше надоем.

Во-первых, знайте, что меня во всем околотке иначе не называют как философкой; особенно дамы меня величают этим именем. Иные утверждают, что я сплю с латинской книгой в руках и в очках; другие – что я умею извлекать какие-то

кубические корни; ни одна из них не сомневается в том, что я исподтишка ношу мужскую одежду и вместо «здравствуй-те» отрывисто говорю: «Жорж Занд!»<sup>[9]</sup> – и негодование на философку возрастает. У нас есть сосед, человек лет сорока пяти, большой остряк... по крайней мере он слышет большим остряком... Для него моя бедная особа – неистощимый предмет насмешек. Он рассказывает обо мне, что как только луна взойдет на небо, так уж я и не могу глаз от нее отвести, и сам представляет, как я гляжу; что я даже кофе пью не со сливками, а с луной, то есть подставляю чашку под ее лучи. Он божится, что я употребляю фразы вроде следующей: «Это легко, потому что трудно, хотя, с другой стороны, оно трудно, потому что легко...» Он уверяет, что я всё ищущу какого-то слова, всё стремлюсь «туда»,<sup>[10]</sup> и с комической яростью спрашивает: «Куда – туда? куда?» Он также распространил обо мне слух, будто я по ночам езжу верхом взад и вперед по реке вброд и пою при этом серенаду Шуберта<sup>[11]</sup> или просто стою: «Бетховен, Бетховен!» Такая она, дескать, пылкая старушка! и т. д. и т. д. Разумеется, всё это тотчас до меня доходит. Вас это, может быть, удивляет; но не забудьте, что со времени вашего пребывания в здешних краях прошло четыре года. Помните, как все тогда на нас косились... Теперь пришла их очередь. И это еще всё ничего. Мне приходится слышать слова, гораздо более проникающие в сердце. Не говорю уже о том, что моя бедная, добрая матушка никак не может мне простить равнодушие ва-



шего брата; но вся жизнь моя по огню бежит, как выражается моя няня. «Конечно, – слышу я то и дело, – куда нам за тобой! Мы люди простые, руководствуемся одним здравым смыслом; а впрочем, как подумаешь, все эти умствования, да книги, да знакомства с учеными – к чему тебя привели?» Вы, может быть, помните мою сестру – не ту, к которой вы некогда были равнодушны, а другую – старшую, которая замужем. Муж ее, вы помните, такой простой, довольно смешной человек; вы над ним тогда часто подтрунивали. А ведь она счастлива: мать семейства, любит мужа, муж в ней души не чает... «Я как все, – говорит она мне иногда, – а ты?» И она права: я ей завидую...

А между тем, я чувствую, все-таки я бы не желала поменяться с нею. Пусть зовут меня философкой, чудачкой, чем угодно – я останусь до конца верна... чему? идеалу, что ли? Да, идеалу. Да, я останусь до конца верна тому, от чего в первый раз забилось мое сердце, – тому, что я признала и признаю правдою, добром... Лишь бы силы мне не изменили, лишь бы кумир мой не оказался бездушным и немым идиолом...

Если вы точно чувствуете ко мне дружбу, если вы точно меня не забыли, вы должны помочь мне, вы должны рассеять мои сомнения, подкрепить мои верования...

А впрочем, какую помощь можете вы подать мне? «Всё это пустяки, турусы на колесах, – говорил мне вчера мой дядя – вы его, кажется, не знаете – отставной моряк, очень

неглупый человек, – муж, дети, горшок щей; за мужем и детьми ухаживать, а за горшком наблюдать – вот что нужно женщине...»<sup>[12]</sup> Скажите, ведь он прав?

Если он точно прав, я еще могу исправить прошедшее, я еще могу попасть в общую колею. Чего мне еще ждать? на что надеяться? В одном вашем письме вы говорили о крыльях молодости. Как часто, как долго они бывают связаны! А потом приходит время, когда они опадают, и подняться над землею, полететь к небу уже нельзя. Пишите мне.

Ваша М.

## X

*От Алексея Петровича к Марье Александровне  
Санкт-Петербург, 16-го июня 1840 года.*

Спешу отвечать на ваше письмо, милая Марья Александровна. Признаюсь вам, что если б... не скажу дела – их у меня нет – если б не глупая, привычка к здешнему месту, я бы уехал опять к вам и наговорился бы досыта, а на бумаге всё это выходит холодно и мертво...

Марья Александровна, повторяю вам: женщины лучше мужчин, и вы должны доказать это на деле. Пускай наш брат либо бросает свои убеждения, как износившуюся одежду, либо меняет их из-за куска хлеба, либо, наконец, дает им заснуть беспробудным сном и ставит над ними, как над мертвецом, некогда милым, надгробный камень, к которому лишь изредка ходит молиться, – пускай наш брат всё это делает; но вы, женщины, не изменяйте себе, не изменяйте своему идеалу... Это слово стало смешно... Смешного бояться – правды не любить. Случается точно, что нелепый хохот глупца заставляет даже хороших людей отказаться от многого... хоть бы, например, от защиты отсутствующего друга... Сам я в этом грешен. Но, повторяю, вы, женщины, лучше нас... В мелочах вы скорее нас сдадитесь; но чёрту в глаза посмотреть вы умеете лучше нас. Не совет и не помощь я вам хочу

подать – где мне! да вам и не того нужно; но я вам протягиваю руку, я говорю вам: терпите, боритесь до конца и знайте, что, как чувство, сознание честно выдержанной борьбы едва ли не выше торжества победы... Победа зависит не от нас.

Конечно, ваш дядя с известной точки зрения прав: семейная жизнь – всё для женщины, для нее другой жизни нет.

Но что ж это доказывает? Одни иезуиты утверждают, что всякое средство хорошо, лишь бы достигнуть цели.<sup>[13]</sup> Неправда! неправда! С ногами, оскверненными грязью дороги, недостойно войти в чистый храм. В конце вашего письма есть фраза, которая мне не нравится: вы хотите попасть в общую колею – смотрите, не оступитесь! Притом не забудьте: прошедшего изгладить нельзя; и как ни старайтесь, как ни принуждайте себя, сестрою вашей вы не сделаетесь. Вы стали выше ее; но душа ваша надломлена, ее – цела. Ниспуститьсь до нее, нагнуться к ней вы можете, но природа прав своих не уступит, и надломленное место не зарастет...

Вы боитесь – будемте говорить без обиняков – вы боитесь остаться старой девушкой. Вам, я знаю, уж двадцать шесть лет. Действительно, положение старых девушек незавидно: все так охотно смеются над ними; все с такой невеликодушной радостью подмечают их странности и слабости; но если поглядеть попристальнее на любого уж стареющего холостяка – и на него стоит уставиться пальцем: найдется и в нем над чем нахохотаться вдоволь. Что делать? С бою счастья не возьмешь. Но не должно забывать, что не счастье, а досто-

инство человеческое – главная цель в жизни.

Вы описываете ваше положение с большим юмором. Я хорошо понимаю всю горечь его; ваше положение можно, пожалуй, назвать трагическим. Но знайте, не вы одни в нем находитесь: почти нет современного человека, который бы не находился в нем. Вы скажете, что от этого вам не легче; а я так думаю, что страдать вместе с тысячами совсем другое дело, чем страдать одному. Тут не в эгоизме дело, а в чувстве общей необходимости.

Всё это прекрасно, положим, скажете вы... но в действительности неприменимо. Почему же неприменимо? Я до сих пор думаю и, надеюсь, никогда не перестану думать, что в божьем мире всё честное, доброе, истинное применимо и рано или поздно исполнится, и не только исполнится, но уж теперь исполняется; держись только каждый крепко на своем месте, не теряй терпения, не желай невозможного, но делай, насколько хватает сил. Впрочем, я, кажется, уж слишком вдался в отвлеченности. Отложу продолжение моих рассуждений до другого письма; но не хочу положить пера, не пожав вам крепко, крепко руки и не пожелав вам от души всего хорошего на земле.

Ваш А. С.

P. S. Кстати! вы говорите, что вам нечего ждать, не на что надеяться; почему вы это знаете, позвольте спросить?

# XI

*От Марьи Александровны к Алексею Петровичу  
Село ...но, 30 июня 1840 года.*

Как я благодарна вам за ваше письмо, Алексей Петрович! Как много пользы оно принесло мне! Я вижу, вы точно добрый и надежный человек, и потому не буду скрывать перед вами. Я вам верю. Я знаю, вы не употребите во зло моей откровенности и подадите мне дружеский совет. Вот в чем дело.

Вы заметили в конце моего письма фразу, которая вам не совсем понравилась. Вот к чему она относилась. Здесь есть сосед... при вас он тут не был, и вы его не видали. Он... Я бы могла выйти за него замуж, если б захотела; он человек еще молодой, образованный, с состоянием. Препятствий со стороны моих родных нет; напротив, они – я это наверное знаю – желают этого брака; он человек хороший и, кажется, меня любит... Но он так вял и мелок, все желания его так ограничены, что я не могу не сознавать моего превосходства над ним; он это чувствует и как будто радуется этому, а именно это-то и отталкивает меня от него; я его уважать не могу, хотя и сердце у него прекрасное. Что мне делать, скажите? Подумайте за меня и напишите мне искренно ваше мнение.

Но как я вам благодарна за ваше письмо!.. Знаете ли, ме-

ня иногда посещали такие горькие мысли... Знаете ли, я доходила до того, что почти стыдилась всякого – не скажу уж восторженного, – всякого доверчивого чувства, с досадой закрывала книгу, когда в ней говорилось о надежде и счастье, отворачивалась от безоблачного неба, от свежей зелени деревьев, от всего, что улыбалось и радовалось. Какое это было тяжелое состояние! Я говорю: было... как будто оно прошло!

Не знаю, прошло ли оно: знаю, что если оно не возвратится, я вам этим буду обязана. Видите ли, Алексей Петрович, как много вы наделали добра, может быть, сами того не подозревая! Кстати, знаете ли, что мне очень вас жаль? Теперь самый разгар лета, дни стоят чудные, небо синее, яркое... в Италии оно не может быть прекрасней, а вы сидите в душном и пыльном городе, ходите по жгучей мостовой. Что вам за охота? Хотя бы на дачу вы куда-нибудь переселились. Говорят, за Петергофом, на берегу моря, есть прелестные места.

Хотела бы еще писать к вам, но невозможно: из сада повеяло таким сладким запахом, что нельзя оставаться в комнате. Надеваю шляпу и иду гулять... До другого раза, добрый Алексей Петрович.

Преданная вам *М. Б.*

*P. S.* Я забыла вам сказать... Вообразите вы себе, тот острый, о котором я вам писала на днях, – представьте, объяснялся мне в любви, и в самых пламенных выражениях. Я сперва думала, что он смеется надо мной, но он кончил формальным предложением – каков после всех его клевет? Но

он решительно слишком стар. Вчера ночью я, ему в пику, села за фортепьяно перед раскрытым окном при свете луны и играла Бетховена. Мне было так весело чувствовать ее холодный свет на моем лице, так отрадно оглашать душистый ночной воздух благородными звуками музыки, сквозь которые по временам слышалось пение соловья! Я давно не была так счастлива. А вы, однако, напишите мне о чем я вас просила в начале письма: это очень важно.



## XII

*От Алексея Петровича к Марье Александровне  
Санкт-Петербург, 8-го июля 1840 года.*

Милая Марья Александровна, вот мое мнение в двух словах: и старого холостяка и молодого вздыхателя – обоих за борт! Об этом и рассуждать нечего. Ни тот, ни другой вас не стоят – это ясно, как дважды два – четыре. Молодой сосед, может быть, и добрый человек, да бог с ним! Я уверен, что между ним и вами нет ничего общего, и можете себе вы представить, как вам весело будет жить вдвоем! Да и к чему спешить? Сбыточное ли дело, чтоб женщина, подобная вам, – я не хочу говорить комплиментов и потому не распространяюсь более, – чтоб такая женщина не встретила никого, кто сумел бы оценить ее? Нет, Марья Александровна, послушайте меня, коли вы точно думаете, что я ваш друг и мои советы полезны. А сознайтесь, приятно вам было увидеть у ног своих старого клеветника?.. Я, на вашем месте, заставил бы его целую ночь напролет петь «Аделаиду» Бетховена,<sup>[14]</sup> глядя на луну.

Впрочем, бог с ними, с вашими обожателями! Не о них мне хочется говорить сегодня с вами. Я нахожусь сегодня в каком-то странном полураздраженном, полувзволнованном расположении вследствие письма, полученного мною вчера.

Посылаю вам с него копию. Письмо это написано одним моим давнишним приятелем и сослуживцем, добрым, но довольно ограниченным человеком. Он года два тому назад уехал за границу и до сих пор мне ни разу не написал. Вот его письмо. NB Он очень недурен собой.

«Cher Alexis<sup>2</sup>

Я в Неаполе, сижу в своей комнате, на Chiaja<sup>3</sup>, перед окном. Погода удивительная. Я сперва долго глядел на море, потом меня взяло нетерпенье, и вдруг мне пришла в голову блестящая мысль написать к тебе письмо. Я, дружище, всегда чувствовал к тебе влечение – ей-богу. Вот и захотелось теперь излиться в твое лоно... так ведь это, кажется, говорится на вашем возвышенном языке. А нетерпение меня взяло вот отчего. Я жду одну женщину; мы вместе с нею едем в Байю есть устрицы и апельсины, смотреть, как темно-бурые пастухи, в красных колпаках, пляшут тарантеллу, жариться на солнце не хуже ящериц – словом, наслаждаться жизнью вполне. Милый друг мой, я так счастлив, что сказать невозможно. Если б я владел твоим пером – о! какую картину я нарисовал бы перед твоими глазами! Но, к сожалению, ты знаешь, я человек безграмотный. Эта женщина, которую я жду и которая заставляет меня вот уже более часа беспрестанно вздрагивать и оглядываться на дверь, меня любит, а уж как я ее люблю – этого, мне кажется, даже и ты своим

---

<sup>2</sup> Дорогой Алексей (*франц.*).

<sup>3</sup> Приморской улице (*итал.*).

красноречивым пером описать бы не мог.

Надобно тебе сказать, что я уж три месяца как с ней познакомился, и с самого первого дня нашего знакомства моя любовь идет всё *crescendo*<sup>4</sup>, в виде хроматической гаммы,<sup>[15]</sup> всё выше и выше, и в настоящую минуту зашла уж за седьмое небо. Я шучу, но в самом деле моя привязанность к этой женщине – это что-то необыкновенное, сверхъестественное. Представь себе, я ведь почти не говорю с ней, всё так гляжу на нее и смеюсь, как дурак. Сяду к ее ногам, чувствую, что глуп ужасно, и счастлив, просто непозволительно счастлив. Иногда случается, что она мне руку на голову положит... Ну тут, я тебе скажу... Да, впрочем, ты этого понять не можешь, ты ведь философ и весь свой век был философом. Зовут ее Ниной, Нинеттой – как хочешь; она дочь одного здешнего богатого купца. Хороша, что твои все Рафаэли; жива, как порох, весела, умна так, что даже удивительно, как она меня, дурака, полюбила; поет как птичка, а глаза —

Извини, пожалуйста, это невольное тире... Мне показалось, что дверь скрипнула... Нет, не идет еще, злодейка! Ты меня спросишь, чем же всё это кончится и что я намерен с собою делать, и долго ли я здесь останусь? Я этого ничего, брат, не знаю, да и знать не хочу. Будет, что будет... Ведь если этак беспрестанно останавливаться да рассуждать...

Она!.. Бежит по лестнице и поет... Пришла. Ну, брат, прощай... Не до тебя. Извини – это она всё письмо забрызгала:

---

<sup>4</sup> нарастая (*итал.*).

ударил мокрым букетом по бумаге. Сперва она думала, что я писал к женщине, а как узнала, что к другу – велела тебе кланяться и спросить, есть ли у вас цветы и пахнут ли? Ну, прощай... Если б ты слышал, как она смеется... Серебро так не звенит; и что за доброта в каждом звуке – так и хочется ножки у ней расцеловать. Едем, едем. Не сердись на мое безалаберное маранье и позавидуй твоему —

М...»

Письмо действительно было всё забрызгано и пахло померанцевым цветом... два белые лепестка прилипли к бумаге. Это письмо меня взволновало... Я вспомнил свое пребывание в Неаполе...<sup>[16]</sup> Погода и тогда стояла великолепная, май только что начинался; мне недавно минуло двадцать два года; но я не знал никакой Нинетты. Я скитался один, сгорая жаждой блаженства, и томительной, и сладостной, до того сладостной, что она сама как будто походила на блаженство... Что значит молодость!.. Помню, раз я ночью поехал кататься по заливу. Нас было двое: лодочник и я... а вы что думали? Что это была за ночь и что за небо, что за звезды, как они дрожали и дробились на волнах! каким жидким пламенем переливалась и вспыхивала вода под веслами, каким благовонием веяло по всему морю – не мне это описать, как ни «красноречиво» мое перо. На рейде стоял французский линейный корабль. Он весь смутно рдел огнями; длинные полосы красного цвета, отраженье озаренных окон, тянулись чуть зыблясь по темному морю. Капитан корабля давал бал.

Веселая музыка долетала до меня редкими приливами; особенно помню я трель маленькой флейты среди глухих возгласов труб; она, казалось, порхала, как бабочка, вокруг моей лодки. Я велел грести к кораблю; два раза объехал его кругом. Женские очертания мелькали в окнах, резво проносимые вихрем вальса... Я велел лодочнику пуститься прочь, вдаль, прямо в темноту... Помню, звуки долго и неотвязно гнались за мною... Наконец они замерли. Я встал в лодке и с немой тоской желанья простер мои объятия над морем... О! как сердце мое ныло тогда!.. Как тяжело мне было мое одиночество! С какую радость отдался бы я весь тогда, весь... весь, если б было кому отдаться! С каким горьким чувством на душе я бросился ниц на дно лодки и, как Репетиллов, попросил, чтобы везли меня куда-нибудь!<sup>[17]</sup>

А вот мой друг ничего подобного не испытал. Да и с какой стати? Он гораздо умнее меня распорядился. Он живет... а я... Недаром он меня назвал философом... Странно! вас также зовут философкой... Отчего бы это над нами такая беда стряслась?..

Я не живу... Да кто же в этом виноват? зачем я сижу здесь, в Петербурге? что я здесь делаю? к чему убиваю день за днем? отчего мне не поехать в деревню? Чем нехороши наши степи? или в них дышать не привольно? или тесно в них? Охота гоняться за мечтами, когда, быть может, счастье под рукой! Решено! я еду, еду завтра же, если можно; еду к себе домой, то есть к вам – это всё равно: мы ведь в двадца-

ти верстах друг от друга. Что в самом деле здесь киснуть! И как эта мысль раньше ко мне не пришла! Милая Марья Александровна, мы скоро увидимся. Это, однако, необыкновенно, что мне эта мысль до сих пор в голову не приходила! Давным-давно следовало бы уехать. До свиданья, Марья Александровна.

*9-го июля.*

Я нарочно дал себе двадцать четыре часа на размышление и теперь убедился окончательно, что мне здесь оставаться незачем. Пыль на улицах такая едкая, что глазам больно. Сегодня же начинаю укладываться, послезавтра, вероятно, отсюда выеду, и дней через десять буду иметь удовольствие вас видеть. Надеюсь, вы меня примете по-прежнему. Кстати, сестра ваша всё еще у тетушки гостит – не правда ли?

Марья Александровна, позвольте вам крепко пожать руку и от души сказать: до скорого свиданья. Я уж и так собирался ехать, но письмо это ускорило мое намерение. Положим, это письмо ничего не доказывает, положим даже, Нинетта другому, мне например, не понравилась бы, а все-таки я еду; уж это несомненно. До свиданья.

Ваш А. С.

## XIII

*От Марьи Александровны к Алексею Петровичу  
Село ...но, 16-го июля 1840.*

Вы едете сюда, Алексей Петрович, вы скоро у нас будете – точно ли? Не скрою вам, что это известие меня и радует и волнует... Как мы увидимся? Поддержится ли та духовная связь, которая, сколько мне кажется, уж начиналась между нами? Не перервется ли она при свидании? Не знаю, мне отчего-то жутко. Не отвечаю вам на ваше последнее письмо, хотя сказать могла бы многое; отлагаю всё это до нашего свиданья. Матушка очень радуется вашему приезду... Она знала, что мы переписываемся с вами. Погода прелестная; мы много будем гулять, я покажу вам новые, открытые мною места... Особенно хороша одна узкая, длинная долина; она лежит между холмами, покрытыми лесом... Она как будто прячется в их изгибах. Небольшой ручеек течет по ней и едва может пробраться сквозь густые травы и цветы... Вы увидите. Приезжайте: может быть, вам не будет скучно.

*М. Б.*

P. S. Сестры моей вы, я думаю, не увидите: она продолжает гостить у тетки. Кажется (но это между нами), она выходит замуж за очень любезного молодого человека – за офицера. Зачем вы мне прислали это письмо из Неаполя? Здешняя

жизнь поневоле покажется тусклой и бедной против той роскоши и того блеска. Но mademoiselle Ninette не права: цветы растут и пахнут – и у нас.



## XIV

*От Марьи Александровны к Алексею Петровичу  
Село ...но, январь, 1841.*

Я вам писала несколько раз, Алексей Петрович... Вы мне не отвечали. Живы ли вы? Или, может быть, вам уж наскучила наша переписка; может быть, вы нашли себе развлечение более приятное, чем то, которое могут доставить вам письма уездной барышни? Вы, видно, и вспомнили-то обо мне от нечего делать. Если так, желаю вам счастья. Если вы мне не ответите и теперь, я не буду больше вас беспокоить; мне останется только сожалеть о моей неосторожности, о том, что я напрасно позволила расшевелить себя, протянула другому руку и вышла, хотя на минуту, из моего уединенного уголка. Я должна в нем остаться навсегда, запереться на ключ – это мой удел, удел всех старых девушек. Я должна привыкнуть к этой мысли. Незачем выходить на свет божий, нечего желать свежего воздуха, когда грудь не выносит его. Кстати ж, мы теперь занесены кругом мертвыми сугробами снега. Вперед буду умней... От скуки не умирают, а с тоски, пожалуй, пропасть можно. Если я ошибаюсь – докажите это мне. Но мне кажется, я не ошибаюсь. Во всяком случае, прощайте, желаю вам счастья.

*М. Б.*

## XV

*От Алексея Петровича к Марье Александровне  
Дрезден. Сентябрь, 1842.*

Пишу к вам, любезная Марья Александровна, и пишу только потому, что мне не хочется умереть, не простившись с вами, не напомнив вам о себе. Я осужден докторами... да я и сам чувствую, что жизнь моя на исходе. На столе моем стоит розан; он не успеет отцвести, как уж меня не станет. Впрочем, это сравнение не совсем удачно. Розан гораздо интереснее меня.

Я, как видите, за границей. Вот уж месяцев шесть, как я в Дрездене. Я получил ваши последние письма – совестно признаться: более года тому назад, некоторые из них затерял и не отвечал вам... Сейчас скажу, – почему. Но, видно, вы мне всегда были дороги: мне, кроме вас, ни с кем не хочется проститься, а может быть, мне и не с кем прощаться.

Скоро после моего последнего письма к вам (я совсем собрался было ехать в ваши края и уж заранее строил различные планы) со мной случилось происшествие, имевшее, уж точно можно сказать, сильное влияние на мою судьбу, до того сильное, что я вот умираю по милости этого происшествия. А именно: я отправился в театр смотреть балет. Я балетов никогда не любил и ко всем возможным актрисам, пе-

вицам, танцоркам чувствовал всегда тайное отвращение... Но, видно, ни судьбы своей переменить нельзя, ни самого себя никто не знает, да и будущее тоже предвидеть невозможно. По-настоящему, в жизни случается одно только неожиданное, и мы целый век только и делаем, что приноравливаемся к событиям... Но я, кажется, опять пустился в философию. Старая привычка! Словом, я влюбился в одну танцовщицу.

Это было тем более странно, что и красавицей ее нельзя было назвать. Правда, у ней были удивительные золотисто-пепельные волосы и большие светлые глаза, с задумчивым и в то же время дерзким взором... Мне ли не знать выражения этого взора? Я целый год замирал и гас в его лучах! Сложена она была прекрасно, и когда она плясала свой народный танец, зрители, бывало, топали и кричали от восторга... Но, кажется, кроме меня, никто в нее не влюблялся – по крайней мере никто так не влюбился, как я. С той самой минуты, как я увидел ее в первый раз (поверите ли, мне даже и теперь стоит только закрыть глаза, и тотчас передо мною театр, почти пустая сцена, изображающая внутренность леса, и она выбегает из-за кулис направо, с виноградным венком на голове и тигровой кожей по плечам), – с той роковой минуты я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину; и если я и теперь, умирая, не принадлежу ей, так это только потому, что она меня бросила.

Говоря правду, она никогда особенно и не заботилась обо

мне. Она едва замечала меня, хотя весьма добродушно пользовалась моими деньгами. Я был для нее, как она выражалась на своем ломаном французском наречии, «*ouin Rouusso, bouin enfan*»<sup>[18]</sup> – и больше ничего. Но я... я уже не мог жить нигде, где она не жила; я оторвался разом от всего мне дорогого, от самой родины, и пустился вслед за этой женщиной.

Вы, может быть, думаете, что она была умна? – Нисколько! Стоило взглянуть на ее низкий лоб, стоило хоть раз подметить ее ленивую и беспечную усмешку, чтобы тотчас убедиться в скудости ее умственных способностей. И я никогда не воображал ее необыкновенной женщиной. Я вообще ни одного мгновенья не ошибался на ее счет; но это ничему не помогало. Что б я ни думал о ней в ее отсутствие – при ней я ощущал одно подобострастное обожание... В немецких сказках рыцари впадают часто в подобное оцепенение. Я не мог отвести взора от черт ее лица, не мог наслушаться ее речей, полюбоваться каждым ее движеньем; я, право, и дышал-то вслед за ней. Впрочем, она была добра, непринужденна, даже слишком непринужденна, не ломалась, как большею частью ломаются артисты. В ней было много жизни, то есть много крови, той южной, славной крови, в которую тамошнее солнце, должно быть, заронило часть своих лучей. Она спала девять часов в сутки, любила покушать, никогда не читала ни одной печатной строчки, кроме разве журнальных статей, где о ней говорили, и едва ли не единственным нежным чувством в ее жизни была привязанность

ее к il signore Carlino<sup>[19]</sup>, маленькому и жадненькому итальянцу, служившему у ней секретарем, за которого она потом и вышла замуж. И в такую женщину, я, в столь различных умственных ухищрениях искусившийся, уж устаревший человек, мог влюбиться!.. Кто б это мог ожидать? Я по крайней мере никак не ожидал этого. Я не ожидал, какую роль мне придется разыгрывать. Я не ожидал, что буду таскаться по репетициям, мерзнуть и скучать за кулисами, дышать копотью театральной, знакомиться с разными, совершенно неблагоприятными личностями... что я говорю, знакомиться – кланяться им; я не ожидал, что буду носить шаль танцовщицы, покупать ей новые перчатки, чистить белым хлебом старые (я и это делал, ей-ей!), отвозить домой ее букеты, бегать по передним журналистов и директоров, тратиться, давать серенады, простужаться, занемогать... Я не ожидал, что получу, наконец, в одном немецком городишке затейливое прозвание: der Kunst-Barbar...<sup>5</sup> И всё это даром, в самом полном смысле слова – даром! Вот то-то и есть... Помните, как мы с вами словесно и письменно рассуждали о любви, в какие тонкости вдавались; а на поверку выходит, что настоящая любовь – чувство, вовсе не похожее на то, каким мы ее себе представляли. Любовь даже вовсе не чувство; она – болезнь, известное состояние души и тела; она не развивается постепенно; в ней нельзя сомневаться, с ней нельзя хитрить, хотя она и проявляется не всегда одинаково; обыкно-

---

<sup>5</sup> варвар от искусства (нем.).

венно она овладевает человеком без спроса, внезапно, против его воли – ни дать ни взять холера или лихорадка... Подцепит его, голубчика, как коршун цыпленка, и понесет его куда угодно, как он там ни бейся и ни упирайся... В любви нет равенства, нет так называемого свободного соединения душ и прочих идеальностей, придуманных на досуге немецкими профессорами... Нет, в любви одно лицо – раб, а другое – властелин, и недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью. Да, любовь – цепь, и самая тяжелая. По крайней мере я дошел до этого убеждения, и дошел до него путем опыта, купил это убеждение ценою жизни, потому что умираю рабом.

Экая, как подумаешь, моя судьба-то! В первой молодости я непременно хотел завоевать себе небо... потом я пустился мечтать о благе всего человечества, о благе родины; потом и это прошло: я думал только, как бы устроить себе домашнюю, семейную жизнь... да споткнулся о муравейник – и бух оземь, да в могилу... Уж какие мы, русские, мастера кончать таким манером!

А впрочем, пора отвернуться от всего этого, давно пора! Пусть эта ноша вместе с жизнью свалится с моей души! Хочу в последний раз, хотя на мгновенье, насладиться тем добрым, кротким чувством, которое разливается во мне тихим светом, как только вспомню о вас. Ваш образ теперь вдвойне для меня дорог... Вместе с ним возникает передо мною образ моей родины, и я шлю и ей и вам прощальный привет.

Живите, живите долго и счастливо, и помните одно: останетесь ли вы в той степной глуши, где вам иногда так тяжело бывает, но где бы мне так хотелось провести мой последний день, – вступите ли вы на другое поприще – помните: жизнь только того не обманет, кто не размышляет о ней, и, ничего от нее не требуя, принимает спокойно ее немногие дары и спокойно пользуется ими. Идите вперед, пока можете, а подкосятся ноги, сядьте близ дороги да глядите на прохожих без досады и зависти: ведь и они недалеко уйдут! Я прежде вам не то говорил, да смерть хоть кого научит. А впрочем, кто скажет, что такое жизнь, что такое истина? Вспомните, *кто* не дал на этот вопрос ответа...<sup>[20]</sup> Прощайте, Марья Александровна, прощайте в последний раз и не поминайте лихом бедного —

*Алексея.*

# Примечания

## Источники текста

Переписка. Повесть. Черновой автограф. Хранится в рукописном отделе *ИРЛИ*, ф. 93, оп. 3, № 1261.

*Отеч Зап*, 1856, № 1, отд. 1, с. 1–28.

*T*, 1856, ч. 3, с. 3–50.

*T*, *Соч*, 1860–1861, т. III, с. 114–145.

*T*, *Соч*, 1865, т. III, с. 153–189.

*T*, *Соч*, 1868–1871, ч. 3, с. 153–188.

*T*, *Соч*, 1874, ч. 3, с. 155–188.

*T*, *Соч*, 1880, т. VII, с. 89–124.

*T*, *ПСС*, 1883, т. VII, с. 95–133.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1856, № 1, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 1 января 1856 г.).

Печатается по тексту *T*, *ПСС*, 1883. Выбор источника текста определен указанием Тургенева в письме от 14 (26) декабря 1882 г. А. В. Топорову, занимавшемуся делами издания: «Вместе с этим письмом отправляется VII (7-й) исправленный том». Речь идет о томе VII последнего прижизненного издания сочинений писателя.

По другим источникам в текст, взятый за основу, внесены следующие исправления:



*Стр. 29, строка 30:* «и не могу себе представить» вместо «не могу себе представить» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

*Стр. 34, строка 22:* «Он рассказывает» вместо «Он рассказывал» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

*Стр. 40, строки 33–34:* «беспрестанно вздрагивать» вместо «постоянно вздрагивать» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

*Стр. 41, строка 32:* «на мое безалаберное» вместо «на безалаберное» (по всем другим источникам).

*Стр. 42, строки 10–11:* «тянулись чуть зыблясь по темному морю» вместо «тянулись по темному морю» (по черновому автографу, *Отеч Зап, Т, 1856, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865*).

*Стр. 47, строка 17:* «каким мы ее» вместо «как мы ее» (по всем другим источникам).

Рукопись чернового автографа «Переписки» (*ИРЛИ*) содержится в двух тетрадах (в первой – 14 листов, во второй – 6).

На первом листе рукою Тургенева написано: «Perepisika. Переписка. Издано Т. 1844». На этом же листе зачеркнута первоначальная надпись: «Первый акт Д. Жуана». Весь лист испещрен беспорядочными, большей частью зачеркнутыми надписями и рисунками. На 13 л. об. в левом верхнем углу рукою Тургенева вписана генеалогия, подробно раскрывающая родственные отношения двух лиц: Семена и его же-

ны Марфы. По всей вероятности, эта развернутая генеалогия связана с каким-то неизвестным и неосуществленным замыслом Тургенева.

На первом листе второй тетради написано: «Переписка. Кончена 8-го декабря 1854. – (начата в 1844!!!)»<sup>[21]</sup>.

Таким образом, начало работы над повестью отделено от момента ее завершения десятилетним периодом.

Почерк и цвет чернил позволяют утверждать, что Предисловие, I, II и часть III письма (кончая словами: «я не вижу никакого выхода из моего положения») написаны одновременно, судя по указанию Тургенева – в 1844 г.; окончание III, IV, V и начало VI письма (кончая словами: «да винить-то нас все-таки нельзя») написаны в следующий, но, очевидно, не очень отдаленный по времени этап работы. Вероятнее всего, работа над этими письмами велась в конце 1849 – начале 1850 г., так как 10 (22) января 1850 г. Тургенев писал А. А. Краевскому:

«Кстати, говорил я Вам об одной небольшой вещице под названьем „Переписка“? – Я вам и ее могу выслать». И в другом письме к тому же адресату, от 23 марта (4 апреля) 1850 г.: «Зато я Вам предлагаю, кроме моей благодарности <...> статью под назвапием „Переписка“, которую я либо вышлю Вам до отъезда, либо привезу сам...»

Окончание VI и VII письмо писались в апреле 1852 г., так как на 7 л. имеется авторская помета: «Ап<рель> 1852», а на 8 л. на полях написано рукою Тургенева: «Муму. – Пере-

писка» (рассказ «Муму» написан в 1852 г.).

Кроме того, в письме к И. С. Аксакову от 28 декабря 1852 г. (9 января 1853 г.) Тургенев писал: «Уединение, в котором я нахожусь, мне очень полезно – я работаю много – и, кроме „П<остоялого> д<вора>“, написал первые три главы большого романа и еще небольшую вещь под названием „Переписка“». О «Переписке» как о повести, близкой к завершению, писал Тургеневу в том же 1852 г. Н. А. Некрасов (см. письмо от 21 октября (2 ноября) 1852 г. – *Некрасов*, т. X, с. 180).

Начиная от слов в VII письме: «А он? Ищите его!» – текст повести писался отдельными отрывками, в расположении которых не всегда соблюдена последовательность.

По первоначальному замыслу всех писем должно было быть четырнадцать. На 1 л. об. Тургенев записал их номера столбиком и, начиная с VII, рядом с номером кратко обозначал содержание каждого письма. В ходе работы Тургенев изменил номер XI письма на XIV; письма XI и XII (окончательной пагинации) содержатся в меньшей из двух тетрадей рукописи и являются, по всей вероятности, позднейшими вставками. Всё это дает основание утверждать, что общее количество писем определилось только на последнем этапе работы Тургенева над «Перепиской», т. е. в 1854 году.

Таким образом, в работе Тургенева над «Перепиской» отчетливо прослеживаются по крайней мере четыре этапа, которые можно датировать 1844, 1849–1850, 1852 и 1854 го-

дами (см.: Громов В. А. «Переписка». – *Т сб*, вып. 1, с. 240–243).

Первоначальный замысел «Переписки» тесно связан с художественными и идейными поисками Тургенева, относящимися к середине 1840-х годов, в частности с его первой повестью «Андрей Колосов» (1844) и со статьей-рецензией о «Фаусте» Гёте (1845; см.: наст. изд., т. 1 и 4). В художественном отношении Алексей Петрович – это образ, в котором развиты характерные черты психологического облика рассказчика из «Андрея Колосова». Алексей Петрович – это «лишний человек». В дальнейшем «лишний человек» поразному варьировался на протяжении всего творчества Тургенева. Герой же типа Андрея Колосова, умеющий разумно и точно определять свое место в жизни, не привлекал внимания писателя вплоть до создания образа Инсарова в «Накануне» (1860).

Идейно-философские поиски Тургенева, во многом определявшие близким общением с Белинским, выразились в «Переписке» в стремлении автора вскрыть причины, порождавшие «лишних людей», и в страстном призыве жить действительной реальной жизнью, а не отвлеченными идеалами, выработанными в искусственной изолированности от повседневного человеческого бытия. К острой постановке этой проблемы Тургенева побуждали недавнее увлечение немецкой идеалистической философией и как отзвук этого увлечения – «философический роман» с Татьяной Бакуниной

(Бродский Н. Л. «Премухинский роман» в жизни и творчестве Тургенева. – В кн.: *Центрархив, Документы*, с. 107–121), а также несомненное воздействие Белинского, который в 1840-х годах объявил в своих статьях непримиримую войну «идеалистическому романтизму» во всех его проявлениях (см.: *Русская повесть XIX века*. Л., 1973, с. 269–270).

Анализ рукописи приводит к выводу, что в процессе работы над повестью первоначальный замысел ее усложнялся и расширялся в соответствии с новыми проблемами, волновавшими Тургенева. Так, в письмах, работа над которыми велась в 1849–1850-х годах, одновременно с созданием «Дневника лишнего человека», Тургенев уделил много внимания размышлениям Алексея Петровича над смыслом жизни и смерти. Эти же мысли волновали и героя «Дневника лишнего человека» (1850; см.: наст. изд., т. 4).

В начале 1850-х годов Тургенев неоднократно возвращался к раздумьям об участи русской дворянской интеллигенции. По его мнению, ее трагическая судьба определялась исторической судьбой русского народа. Он писал К. С. Аксакову 16 (28) октября 1852 г., что видит «трагическую судьбу племени» и понимает смысл «великой общественной драмы», разыгравшейся в современном русском обществе. В тех частях «Переписки», которые писались в самом начале 1850-х годов, Тургенев также говорил о том, что «обстоятельства» «определяют» участь людей (с. 26) и что в современном обществе не одни Марья Александровна и Алексей

Петрович находятся в трагическом положении (с. 37). Трагическая судьба – типическое явление русской жизни. В ходе осуществления первоначального замысла значительно усилилось трагическое восприятие Тургеневым любви. Любовь представляется теперь Тургеневу как сила стихийная, являющаяся одним из проявлений извечных законов природы, над которыми человек не властен и которые являются для него одновременно источником и радости и страдания (см.: Бялый Г. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Советский писатель, 1962, с. 95–99).

Впервые эта мысль была развита Тургеневым в «Петушкове» (1847) и затем в «Трех встречах» (1852).

Тургенев много размышлял над «Перепиской» и всякий раз, возвращаясь к работе над ней, правил куски, написанные ранее (об этом свидетельствует цвет чернил и позднейшая карандашная правка).

Наибольшей правке подверглись страницы рукописи, посвященные главному герою – Алексею Петровичу. Необходимо подчеркнуть, однако, что основные психологические черты облика героя, намеченные еще в 1844 году, не изменились.

В первоначальном варианте Тургенев уделял значительно больше внимания раскрытию индивидуалистической рефлексии героя. В окончательном тексте он вычеркнул несколько таких мелочных саморазоблачений Алексея Петровича. Так, в черновом автографе после слов: «и тешилось

мое дрянное самолюбие» (с. 25) было: «Я, кажется, добился наконец смирения и перестал воображать себя средоточением вселенной. Каждый человек самому себе дорог и до конца жизни собой не налюбуется; но многие люди (и первый я, грешный) сверх того еще одарены страстью сообщать другим все свои впечатления. Они с таким умилением, так нежно, томно, снисходительно, так аппетитно рассказывают вам о своих привычках, даже странностях, даже слабостях, как будто никто – разве уж какой-нибудь самый ограниченный и завистливый чудак – не может не принимать живейшее участие в их рассказах. „Я всегда по утрам пью зельтерскую воду; у меня, знаете ли, по утрам не совсем хороший вкус во рту бывает; и ведь странное дело! Спрашивал я у докторов: отчего бы это“?» Вместо: «больше одним ~ торжество убеждения» (с. 27) в черновом автографе читаем: «больше одним из тех ничтожных существ, в которых привычка, дошедшая до бессознательности, отравляет самое стремление к истине, молодость безобразно слита с старостью, раздражительность живет рядом с жалким лукавством, обессиленной мысли не знаком покой естественной деятельности, как не знакомы ни искренняя радость, ни искреннее страдание, ни искреннее удовлетворение действительных убеждений».

Не сразу были найдены нужные слова и в том месте повести, где Тургенев раскрывал причины, сделавшие героя «лишним человеком». Первоначально Тургенев больше внимания уделял раскрытию объективных причин, обусловли-

вающих появление «лишних людей». В соответствии с этим в черновом автографе после слов: «определенного направления» (с. 27) – было начато: «Постановленные с самого начала в ложное положение, преданные в жертву глубоко-му противуречию...» Но потом, сосредоточив выяснение социальных предпосылок, делающих возможным существование «лишних людей», в начале VI письма, Тургенев развил мысль о нравственной ответственности каждой личности за свою судьбу. После слов: «... нельзя же требовать от каждого, чтоб он тотчас понял бесплодность ума, „кипящего в действии пустом“» – было: «и не по природному влечению, а по выбору посвятил себя чему-нибудь дельному <науке> – врожденная любовь к своей „личности“ торжествует».

Значительной правке, притом позднейшей, подвергся отрывок VI письма, где герой размышляет о смысле прожитой им жизни (с. 25–26). В первоначальном варианте это рассуждение заканчивалось определением смерти, сделанным в материалистическом духе. Алексей Петрович писал там: «Молодость моя прошла, и как тому прохожему на горе мне всё видно назад, да и впереди мерещится многое, о чем живому теплему телу, не разложенному еще на первобытные земли и соли – вспоминать очень жутко».

В первоначальном варианте повести был указан также возраст героя – «лет под тридцать», в окончательном тексте о его возрасте ничего не сказано.

Не менее тщательно работал Тургенев и над образом ге-



роини повести Марьи Александровны.

Высказана была точка зрения, что изображение «философического романа» с Татьяной Бакуниной претерпело в творчестве Тургенева некую эволюцию от сатирического образа старой девы-философки в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник» (1847) до образа Марьи Александровны в «Переписке» (см.: Крестова Л. В. Т. А. Бакунина и Тургенев. – *Т и его время*, с. 48–49). В действительности же образ Марьи Александровны задуман Тургеневым раньше, чем был написан рассказ «Татьяна Борисовна и ее племянник». Характеристика героини «Переписки» в трагическом аспекте ясна уже из второго письма, написанного Тургеневым в 1844 г. К особенной точности и ясности художественного воплощения своего замысла Тургенев стремился в письме IX, где раскрывается истинная сущность облика героини, подвергавшейся преследованиям со стороны обывательской среды, ее окружавшей.

Возможность изображения героини-«философки» почти одновременно в двух различных аспектах (трагическом в «Переписке» и комическом в «Татьяне Борисовне и ее племяннике») объясняется тем, что и в реальных «философках», типичной представительницей которых была Татьяна Бакунина, Тургенев видел и положительные и отрицательные стороны, так же, впрочем, как и в «лишних людях». Нужно также принять во внимание то обстоятельство, что повесть заканчивалась Тургеневым в 1854 году, когда он,

живя на даче под Петергофом, общался с О. А. Тургеневой и задумывался о возможной женитьбе на ней. Исследователи уже отмечали, что в XI письме, которое, как сказано выше, является позднейшей вставкой, отразились некоторые реальные факты биографии Тургенева, а образ героини, Марьи Александровны, дополнился чертами, характерными для О. А. Тургеневой (см.: *Истопин*, с. 113; Назарова Л. Н. Тургенев и О. А. Тургенева. – *Т сб*, вып. 1, с. 296–297).

В черновой рукописи героиня названа Марией Павловной. Очевидно, только готовя повесть к печати, Тургенев заметил, что в «Затишье» героиня названа этим же именем, и заменил его на «Марья Александровна». Отчество, вероятно, было также выбрано с намеком на Ольгу Александровну Тургеневу.

Черновой автограф «Переписки» позволяет сделать вывод, что в первоначальном варианте автобиографический элемент в повести присутствовал еще в большей степени.

Так, в первом варианте Тургенев прямо указал, что Марья Александровна писала письма из села Ш., что легко расшифровывается как село Шашкино (Мценского уезда, Орловской губернии), где в 1842 г. гостила Татьяна Бакунина и где протекал ее «философский роман» с Тургеневым.

Точно так же в первом варианте портрет танцовщицы, которую полюбил герой, ассоциировался с внешним обликом Полины Виардо. В первоначальном тексте у героини были вместо золотисто-пепельных – черные волосы, вместо

светлых – черные глаза и говорила она на ломаном испанско-французском наречии (намек на испанское происхождение П. Виардо).

Как всегда, значительной правке в рукописи подверглись пейзажи – русский и итальянский. При этом правка, как правило, вела к развитию и уточнению художественного образа. Так, например, в окончательном тексте о ручье, бегущем по долине, сказано: он «едва может пробраться сквозь густые травы и цветы...» (с. 43), а в первоначальном варианте было: он «едва пробирается сквозь спутанную зелень».

Через всю черновую рукопись проходит двойное написание: «философка» и «филозофка». При этом «филозофкой» героиня называлась только в тех случаях, когда это определение употреблялось ее врагами в ироническом смысле (см. с. 34, 35, 42). В журнальном тексте «Отечественных записок» этот оттенок не соблюден.

Закончив работу над черновой рукописью «Переписки» 8 (20) декабря 1854 г., Тургенев обратился к Е. А. Черкасской с просьбой помочь ему найти переписчика. 17 (29) января 1855 г. он ей писал: «Любезная княгиня, у меня есть до Вас покорная просьба – мне моя „Переписка“ непременно нужна завтра к обеду – то сделайте одолжение, распорядитесь так, чтобы она была готова завтра часа – в 2 часа, а я за ней зашлю или сам заеду...».

Несмотря на то что еще в 1850 г. Тургенев обещал «Переписку» А. А. Краевскому для «Отечественных записок», он

отдал ее в «Современник» Некрасова и уже в начале февраля ст. ст. 1855 г. получил ее корректуру. Об этом мы узнаем из письма Тургенева к М. Н. и В. П. Толстым, которым он писал 8 (20) февраля 1855 г.: «...корректуру „Переписки“ отдайте Боткину – когда он за нею явится».

По неустановленным причинам «Переписка» не появилась в ближайшем, мартовском номере «Современника», и только в конце мая И. И. Панаев представил повесть на рассмотрение и одобрение цензору В. Н. Бекетову. 3 (15) июня 1855 г. И. И. Панаев писал Тургеневу: «...я должен сказать тебе, что показывал твою „Переписку“ Бекетову, и он пропускает всё, – только выкидывает безделицу!! – последнее письмо за слишком резкий его тон <...> Актрису, говорит, любить нехорошо, или об такой любви не надо говорить с увлечением <...> Что будешь делать?.. А я, признаюсь, посягал на „Переписку“, зная, что от тебя не скоро добьешься чего-нибудь» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 108). И, не дождавшись ответа от Тургенева, вторично писал о том же 15 (27) июня 1855 г.: «Не переделаешь ли ты последнее письмо в „Переписке“ – и в таком случае можно бы ее печатать <...> Как ты думаешь?.. Если у тебя нет „Переписки“, я тебе пришлю корректуры с отметками Бекетова» (там же).

В архиве Петербургского цензурного комитета не сохранилось никаких документов, раскрывающих цензурную историю «Переписки», точно так же, как неизвестна и корректура повести с пометами цензора В. Н. Бекетова, о которой

писал И. И. Панаев. Тургенев категорически отказался что-либо переделать в «Переписке» и, пользуясь этим предложением, передал повесть А. А. Краевскому. Он писал по этому поводу И. И. Панаеву 13 (25) июня 1855 г.: «Я должен тебе сказать, что я рад отказу Бекетова; если б он пропустил „Переписку“ – и она бы у вас явилась, – я был бы поставлен в весьма ложное и неприятное положение к Краевскому, которому эта повесть – пока – принадлежит».

«Переписка» была опубликована без каких-либо изменений в первом номере «Отечественных записок» за 1856 г. В том же году «Переписка» была включена Тургеневым в третью часть «Повестей и рассказов». При подготовке повести для перевода в издании 1858, *Scènes* Тургенев в последнем, XV письме дописал абзац, который и был впервые опубликован во французском переводе. Здесь после слов: «потому что умираю рабом» («...car je meurs esclave») – вставлено: *Admirez un peu mon sort. Dans ma jeunesse, je voulais escalader le ciel et y trouver Dieu; puis j'ai rêvé le bien du genre humain, celui de la partie; puis je me suis résigné à m'arranger une vie d'intérieur; et voilà qu'une vile taupinière m'a jeté par terre; que dis-je? dans la tombe. Ah! quel talent particulier nous avons pour finir ainsi, nous autres Russes!* (с. 262; русский текст см. на с. 47: «Экая, как подумаешь ~ кончать таким манером»).

По неизвестным причинам этот абзац не вошел в издание *T, Соц, 1860–1861* и был включен в русский текст повести только в 1865 г., но – вероятно, по цензурным условиям –

без слов «et у trouver Dieu» (в русском тексте должно было быть: «В первой молодости я непременно хотел завоевать себе небо и найти там бога»). Во всех последующих изданиях своих сочинений Тургенев печатал «Переписку» без изменений, с несколькими малозначительными стилистическими поправками.

«Переписка» сразу же после опубликования ее в первом номере «Отечественных записок» за 1856 г. привлекла внимание критики.

«Московские ведомости» первые известили своих читателей о выходе в свет новой повести Тургенева. В обзоре, посвященном первым книжкам русских журналов за 1856 г., рецензент писал: «Замечательный талант г. Тургенева известен всем и каждому, и мы не будем распространяться о новой его повести. Скажем только, что она отличается тою же тонкостью анализа, тою же изящною отделкою, которые у г. Тургенева никогда не переходят в излишество и доставили ему заслуженную и громкую известность» (*Моск Вед*, 1856, № 10, 24 января). Вслед за «Московскими ведомостями» «Переписке» Тургенева посвятили небольшую рецензию «С.-Петербургские ведомости». В. Р. Зотов, охарактеризовав героя новой повести Тургенева, с особым вниманием отнесся к ее героине. Рецензент подчеркнул незаурядный ум Марьи Александровны, сильное чувство, блестящее воображение, «энергию воли и характера». Он, однако, не уловил идейно-художественную концепцию «Переписки» и

потому писал, что повесть имеет неоправданный конец. Он так обосновывал свою точку зрения: «Однажды узнавши эту женщину (Марью Александровну), к другой можно было почувствовать только минутную прихоть, простое увлечение. Гораздо натуральнее было разочароваться в самой Марье Александровне, свидевшись с нею, найдя, что в жизни она совсем не та, как на бумаге: на мысли и на чувства так же легко надеть маску, как и на лицо. Я даже думал, что рассказ кончится именно таким образом, но автор дал ему другой оборот, развязал трагически эту маленькую драму сердца; на это у г. Тургенева были, конечно, свои причины, и драма, даже в таком виде, производит сильное впечатление» (*СПб Вед.*, 1856, № 30, 7 февраля).

Более глубокое суждение о «Переписке» содержалось в обзорной статье «Библиотеки для чтения» (1856, № 2, Журналистика). Автор обзора первых книжек журнала за 1856 г. А. И. Рыжов (см.: Егоров Б. Ф. Критическая деятельность А. И. Рыжова. – Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, № 65, 1958, с. 76–77) писал, что Тургенев в своей новой повести «очерчивает характер еще одного современного человека и характер девушки». По его мнению, герой повести – «это личность, погибшая от анализа, несмотря на присущие ей условия светлой и даже страстной жизни». Рецензент в заключение сделал вывод, что «Переписка» является «шагом вперед» на пути овладения ее автором «положительным светлым лиризмом» (*Б-ка Чит.*, 1856, № 2, с. 71, 72).

После выхода в свет «Повестей и рассказов» И. С. Тургенева в 1856 г. критики еще раз высказали свое мнение о «Переписке», сопоставляя ее теперь с другими произведениями писателя, вошедшими в это издание.

А. В. Дружинин в статье, посвященной анализу творчества Тургенева в связи с появлением первого издания его сочинений, писал, что герой «Переписки», Алексей Петрович, «имеет кое-что сходное с личностями, на изображении которых столько раз останавливался г. Тургенев в последние года своей деятельности» (*Б-ка Чит*, 1857, № 5, отд. V, с. 29). По определению Дружинина, Алексей Петрович – это «большое дитя современного общества» (там же, с. 33), страждущее, подобно многим из предшествовавших героев Тургенева, «недугом воли». Причину страданий героя, который сам по себе «хороший и достойный», «правильно развитый по уму и сердцу» (там же, с. 32), Дружинин видел в том, что у Алексея Петровича отсутствовали нравственная энергия и сознание долга.

Что касается художественной формы «Переписки», то Дружинин считал ее наиболее соответствующей характеру дарования Тургенева. Он писал: «...письменная, или, как говорилось в старину, *эпистолярная*, манера повествования дается г. Тургеневу легче всякой другой манеры. Она дает простор мысли и лиризму, она легче допускает импровизацию, наконец, она не требует той объективности в изображении лиц, к которой мы так привыкли за последнее вре-



мя» (там же, с. 34).

С. С. Дудышкин в своей статье о «Повестях и рассказах» И. С. Тургенева причислил героя «Переписки» к разряду «лишних людей» и в его характеристике исходил, как и в характеристике Веретьева (см. комментарии к «Затишью», наст. изд., т. 4), из мысли о необходимости «деятельности» и «примирения с жизнью». Дудышкин отмечал, что Тургенев, изображая Алексея Петровича, сделал, с его точки зрения, шаг вперед на пути «разоблачения» «лишних людей». Он писал: «Виной тому, что этот господин сделался лишним, не одна пошлость жизни, не одно общество, не одни люди – нет, и сам этот милый идеал начинает являться с слабой стороны. Уже автор казнит его» (*Отеч Зап*, 1857, № 1, отд. II, с. 17). Дудышкин считал «Переписку» «лучшим и полнейшим произведением» Тургенева, свидетельствующим, что ее автора больше не интересовали «игра в страсти» и поиски «сильных ощущений». Однако и в «Переписке», утверждал Дудышкин, Тургенев не обнаружил «полного понимания жизни» (там же, с. 19).

Во многом сходную оценку «Переписки», но с другой, славянофильской точки зрения дал в «Русской беседе» К. С. Аксаков. Он так же, как и С. С. Дудышкин, с удовлетворением отметил, что в «Переписке» Тургенев продолжал разоблачение «лишнего человека». К. С. Аксаков писал, что в таких рассказах Тургенева, как «Петушков», «Дневник лишнего человека», «Гамлет Щигровского уезда», «Переписка»,

сказывается «уже не хвастовство эгоизма <...>, а, напротив, сознание дрянности человеческой! В них выражается большею частью то бессилие, та мелкая ложь, которые у нас сопровождают и проникают часто и ум и чувство и составляют болезнь нашего века. Какая перемена, какая разница, и разница спасительная, с предыдущим содержанием повестей и рассказов. Долой маску и геройский костюм! Вот оно, изнуренное лицо современного человека, не отмеченное ни властительною мыслию, ни глубокою любовью братскою» (*Русь беседа*, 1857, т. I, отд. IV, с. 20).

В 1867 г., в связи с выходом в свет «Дыма» Тургенева, в «Отечественных запячках» появилась анонимная статья под названием «Аскетизм у г. Тургенева» (автор – Б. И. Утин), в которой герой «Переписки» назван в ряду других героев Тургенева, переживших любовь, идущую «против всякого разума и достоинства жизни». Автор статьи писал, что так «любит герой „Переписки“ свою танцовщицу, Петушков – свою Василису, „лишний человек“ – свою Лизу, так любит, наконец, и Литвинов Ирину в „Дыме“» (*Отеч Зап*, 1867, № 7, отд. II, с. 54).

В последующие периоды изучения творчества Тургенева исследователи писали о том, что в «Переписке» Тургенев «на смену мужским типам выдвигает на первый план идеальные женские типы» (*Истосмин*, с. 115).

В советские годы специальных статей, посвященных «Переписке», не появлялось. Об этой повести более или менее

подробно говорится в общих монографиях о творчестве И. С. Тургенева. Точные сведения о времени создания «Переписки» впервые были введены в научный оборот только в 1929 г. Б. М. Эйхенбаумом (см.: *Т, Сочинения*, т. VII, с. 358).

Г. А. Бялый отмечает большое значение «Переписки», считая, что в этой повести впервые сказано о социальной обусловленности «лишних людей» и намечена постановка вопроса об их исторической роли. Бялый приходит к выводу, что в «Переписке» «даны уже все элементы будущего романа Тургенева как особого жанра... Здесь объяснено и истолковано, каков герой и какова героиня, каковы должны быть взаимоотношения между ними, какова должна быть завязка и развязка этих отношений, как будет совершаться суд над героем и по какому кодексу он будет судим» (см.: Бялый Г. А. *Тургенев и русский реализм*. М.; Л.: Советский писатель, 1962, с. 60–66).

## Условные сокращения

*Горбачева, Молодые годы, Т* – Горбачева В. Н. Молодые годы Тургенева. (По неизд. материалам). Казань, 1926.

*Станкевич, Переписка* – Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840 / Ред. и изд. Алексея Станкевича. М., 1914.

*Стасюлевич* – Стасюлевич М. М. и его современники в их переписке. СПб., 1911–1913. Т. I–V.

*Т, Рудин, 1936* – Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо. 2-е изд. М.; Л.: Academia, 1936.

*Твори путь Т* – Творческий путь Тургенева. Сборник статей под редакцией Н. Л. Бродского. Пг.: Сеятель, 1923.

*Ausgewählte Werke* – Iwan Turgénjew's Ausgewählte Werke. Autorisierte Ausgabe, Mitau – Hamburg, E. Behre's Verlag, 1869–1884.

*Dolch* — Dolch Oscar. Geschichte des deutschen Studententhums von der Gründung der deutschen Universitäten bis zu den deutschen Freiheitskriegen. Leipzig, 1858.

*Tagebücher* — Varnbagen K.-A. Tagebücher, 1861–1905, Bd. I–XV.

# Комментарии

1.

...никогда не прикидывался Байроном. – Творчество английского поэта-романтика Джорджа Байрона (Byron; 1788–1824), участника революционно-освободительного движения в Италии и Греции, оказало влияние на всю европейскую литературу начала XIX в., в том числе и на русскую. Байрон создал образ молодого человека – замкнутого индивидуалиста, разочарованного в общественной жизни, но в то же время наделенного бунтарским духом и свободолюбием.

2.

...вот в чем вопрос. – Слова из монолога Гамлета в одноименной трагедии Шекспира: «To be, or not to be: that is the question» («Быть или не быть, вот в чем вопрос», акт III, сцена I).

3.

...«кипящего в действии пустом»... – Цитата из 7-й главы «Евгения Онегина» Пушкина. Там: «...современный человек... С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом» (строфа XXII).

4.

...И мы бывали в Аркадии... – Перефразировка первой

строки стихотворения Шиллера «Résignation» (1784): «Auch ich war in Arkadien geboren» («И я рожден в Аркадии»). Аркадия – центральная часть Пелопоннеса в Древней Греции. В искусстве и литературе Аркадия изображалась страной райской невинности, патриархальной простоты нравов и мирного счастья.

## 5.

Не плакать сладостно ~ страны обетованной? – Перефразировка двух строк из стихотворения А. А. Фета «Когда мои мечты за гранью прошлых дней» (1844) из цикла «Элегии и думы». У Фета:

## 6.

Облаком волнистым... – Стихотворение А. А. Фета (1843), которое Тургенев цитирует с поправкой, по его настоянию внесенной Фетом в издание «Стихотворений» 1856 г. (см.: Фет А. А. Полное собрание стихотворений. «Библиотека поэта». Большая серия, 1959, с. 760; Благой Д. Д. Тургенев – редактор Фета. – Печать и революция, 1923, кн. 3, с. 45–65; Бухштаб Б. Я. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974, с. 33).

## 7.

«...так близко, так возможно» – неточная цитата из 8-й главы «Евгения Онегина» Пушкина. Там: «А счастье было

так возможно, так близко!» (строфа XLVII).

**8.**

«Женский ум лучше многих дум»... – народная поговорка, зафиксированная в «Толковом словаре» Даля в несколько отличном варианте: «Женский ум лучше всяких дум».

**9.**

...ношу мужскую одежду и вместо «здравствуйте» отрывисто говорю: «Жорж Занд!»... – Жорж Занд (или Санд) – литературный псевдоним писательницы Авроры Дюде-ван (1804–1876). В начале литературной деятельности Жорж Санд носила мужской костюм, подчеркивая тем самым свое право наравне с мужчинами на свободу мысли и чувства.

**10.**

...всё стремлюсь «туда»... – Призыв «туда, туда» (нем. *Dahin, dahin*) восходит к песне Миньоны из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1793–1796). В 1817 г. Жуковский вольно перевел эту песню под названием «Мина». Вот ее первый куплет:

**11.**

...серенаду Шуберта... – Речь идет о песне Шуберта «*Ständchen*», написанной на слова немецкого поэта Людвиг

Рельштаба (1779–1860). Эта песня пользовалась большой популярностью в России. Ее неоднократно исполняла в своих концертах в Москве и Петербурге Полина Виардо (см.: Сев Пчела, 1845, № 94, 28 апреля). Текст песни был переведен на русский язык в 1840 г. Н. П. Огаревым под названием «Sérénade» («Песнь моя летит с мольбою...»); на слова Огарева исполняется до сих пор.

## 12.

...муж, дети, горшок щей ~ вот что нужно женщине...» – Ср. у Пушкина в «Отрывках из путешествия Онегина»:

## 13.

...иезуиты утверждают, что всякое средство хорошо, лишь бы достигнуть цели. – Иезуиты – члены католического монашеского ордена, основанного в XVI в. в Париже в целях распространения католицизма и упрочения власти папства. Разработанная иезуитами система морали была ими названа «приспособительной», так как давала возможность произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования и совершать любое преступление во имя высшей цели – утверждения «славы божией». Иезуитам приписывается девиз – «цель оправдывает средства» (см.: Михневич Д. Е. Очерки по истории католической реакции (иезуиты). 2-е изд. М., 1955).



**14.**

...петь «Аделаиду» Бетховена... – Романс на слова Маттисона (см. примеч. к «Якову Пасынкову», с. 411), сочиненный Бетховеном в 1796 г. (ор. 46).

**15.**

...хроматическая гамма – гамма с полутоновым расстоянием между ступенями, насчитывающая двенадцать звуков в пределах октавы (в диатонической гамме – семь).

**16.**

Я вспомнил свое пребывание в Неаполе... – Эти строки автобиографичны: Тургенев тоже был в юности в Неаполе – в апреле месяце ст. ст. 1840 года (ср. описание Неаполя в его письме к Н. В. Станкевичу от 14, 15 (26, 27) апреля 1840 г.).

**17.**

...как Репетиллов, попросил, чтобы везли меня куда-нибудь! – Перефразировка слов Репетилова из «Горя от ума» Грибоедова (действие IV, явл. 9).

**18.**

«русский простак» (франц.).

**19.**

синьору Карлино (итал.).

## 20.

Вспомните, кто не дал на этот вопрос ответа... – Во французском тексте (1858, Scènes, с. 263) переведено: «Rappelez-vous la question posée par Pilate, et restée sans réponse» («Вспомните вопрос, заданный Пилатом и оставшийся без ответа»). Речь идет о вопросе, заданном Пилатом Иисусу: «Что есть истина?», на который Иисус не ответил (см.: Евангелие от Иоанна, глава 18, ст. 38). В текстах русских изданий эти слова отсутствуют – очевидно, по цензурным причинам.

## 21.

Важнейшие варианты чернового автографа «Переписки» см.: Т сб, вып. 2, с. 61–70.